

Отец

Еле заснул Витька. Ходики тикали. Дед то затихал, то громко храпел в горнице. Витька переворачивался на другой бок, койка покачивалась и скрипела железной сеткой, а он все представлял себе завтрашний день. И улыбался, и шептал что-то в темноте.

Проснулся, когда солнце вовсю светило в окна. Соскочил с кровати и, придерживая слетающие трусы, побежал в уборную. Дед насыпал уже зерна курам, подметал двор, пыхтя беломориной. Он его каждый день подметал и поливал — жара стояла. Витька вышел из уборной, бухнул дверь и закрыл на вертушку. Дед не любил, когда бывало не закрыто.

Он пробежал мимо дедовой метлы, но, понимая, что зря торопится и времени еще полно, задержался на крыльце:

— Дед, я цыганки нарву курам!

Дед перестал мести. Недоверчиво поднял бровь.

— Ты ж говорил, больше нет нигде?

— К мельнице схожу, мы с Колтушей червей копали, там полно...

Он забежал в дом, нашел рубашонку и, надевая ее, глянул на будильник. Было только полшестого. Заскочил на всякий случай в горницу. На ходиках было тридцать пять минут.

Он метнулся в сарай, схватил серп и полетел по улице. Стадо уже прошло. В дальнем конце пылило. Свежие лепехи блестели на солнце, и Витька старался не вляпаться. Перепрыгивал и делал зигзаги, как на велике. Он и всегда-то был шустрый и шагом ходить не любил, а тут торопился от переполнявшей его радости.

Витька жил в городе, и каждый год его отправляли на лето к бабушке. Черненькие глазки, темненький чубчик и чуть оттопыренные уши, сообразительный и симпатичный мальчонка. А рассудительный, ну совсем как дед, но роста небольшого. На их улице только сосед его Сашка Колтунов был ниже. Наверное, поэтому его и не пускали на речку. Соседские пацаны, когда хотели, бегали купаться, он же целыми днями слонялся по двору.

Но этим летом ему исполнилось шесть. Мама приезжала на день рождения с маленькой сестренкой, и они все вместе ходили на Гнилушу. Мама стояла по колено в воде, купала Светку и видела, что он совсем уже большой. И хорошо умеет плавать. По-всякому — по-собачьи и на спинке... И разрешила ходить с ребятами.

А сама почему-то каждый вечер плакала с бабушкой. Витька думал, что она боится за него, и, пока она гостила, на речку не ходил.

Но когда она уехала, Витька с Колтушей облазили все. И Гнилушу, и Казачку, и даже ездили, когда дед давал свой велосипед, на дальние омота на Хопре. У Колтуши был подростковый «Орленок», а Витька засовывал ногу под раму и крутил, изогнувшись, дедов.

Еле донес огромную охапку травы. Этого хватило бы на два дня, но дед всю ее связал пучком и подвесил в курятник. Витька обычно такие вещи не пропускал, но теперь снисходительно смолчал — у него было

очень хорошее настроение, а дед был не в духе. Все делал медленно, думал о чем-то и курил одну за другой.

Потом Витька долго ел оладьи с молоком. Поставил перед собой будильник и ел. Оладьи подгорели. Некоторые прямо дочерна. Всё из-за деда, понимал внучок. Он, когда с травой вернулся, слышал, как они опять ругались с бабой.

Они обычно очень смешно ругались, Витька в это никогда не верил. Баба чаще всего что-то тихо и сердито выговаривала деду. А ему и было за что. Пойдет в магазин за молоком — бидончик молочный забудет, вернется — бидончик возьмет, гаманок с деньгами оставит. И смех и грех — совсем из ума выжил. Дед ей не отвечал. Смотрел как телок, улыбался глупо и только кивал своим большим носом. Вроде как: давай, говори-говори... А то брал в охапку и прижимался щекой ей ко лбу. И пел какую-нибудь самодельную частушку:

Ой ты, Верочка моя,
Вера Златова,
Что ж не любишь ты меня,
Конопатова!

И смешно притопывал ногой. И баба переставала ругаться, смеялась и толкала деда в толстый живот.

Но в этот раз дед за что-то был недоволен на дочь, то есть на Витькину мать, а у бабы слезы текли по-настоящему, и оладьи пригорели.

В девять Витька отыскал деда в сарае. Тот, надев очки на резинке, подшивал валенок.

— Дед, пойдем на станцию встречать... Опоздаем!

Дед доделал отверстие в толстой подметке, воткнул шило в верстак, долго смотрел на дырку, потом поднял

голову на Витьку. Глаза за очками были большие и ненормальные, как у совы.

— Дойдет он, не маленький... — Он засунул толстую иголку в только что сделанное отверстие. — Иди-ка посмотри, что нанесли-то? Слышишь, пестрая орет. Опять где-нибудь снесла?

Витька любил собирать яйца. Пеструха была у них одна, неслась коричневыми яйцами и никогда не в гнезде. Интересно было искать. Но не сейчас.

— Я тогда один пойду... — начал Витька строгим голосом.

— Иди, — неожиданно легко согласился дед.

— Витя! — позвала бабушка с крыльца.

— Чего? — Он шел к ней, а сам думал, поехать на велосипеде или пойти пешком. На велосипеде хорошо было бы...

— Рубашку чистую надень. И сандали... где сандали-то дел?

Пока он умывался, надевал рубашку и искал сандалии, времени совсем осталось мало: поезд приходил в девять двадцать пять. Витька схватил велосипед, выкатил за калитку и, встав на педаль, начал уже было толкаться, как увидел, что заднее колесо гремит по земле ободом. Он изругал деда, который обещал, да не заклеил камеру, и, совсем уже торопясь, покатиł негодный велик обратно во двор.

Он пробежал их улицу и свернул к станции. Дома кончились, тропинка, слегка петляя, вела сквозь высокий зеленый бурьян с шершавыми листьями и колючими шишками, из стволов которого они делали копья, когда играли в индейцев. Заросли тянулись до самых железнодорожных путей.

За одним из поворотов Витька увидел отца.

Он шел с рюкзаком за плечами и удочками в руках. Витька наддал еще и с разбега кинулся к нему на шею. Прижался крепко к колючей щетине, потом отстранился, посмотрел в улыбающиеся темно-карие, такие же как у него, глаза и поцеловал. Сначала одну щеку, потом другую, потом — подумал еще, что совсем как малыш, — но много и часто в подбородок с ямочкой. Маленький, он так его целовал. Сначала его, потом маму, потом снова его. Отец улыбался, прижимал сына и слышал, как стучит его сердечко.

Домой Витька вел отца за руку. Рассказывал про все. Как он плавает, про рыбалку — как они с дедом ходили, да ничего не поймали, — и все оглядывался на драчуна Сашку Гомона — тот подсматривал за ними с отцом, спрятавшись за калитку. Отец у Витьки был большой и очень сильный. И удочки привез настоящие, бамбуковые. А у Гомона вообще отца не было. Был, правда, старший брат, но и тот одноногий. На костылях.

— Здравсте, Вер Иванна! — Отец, нагнувшись, вошел в кухню.

Бабушка подняла на него глаза, в них почему-то стояли слезы, закачала головой — ой, Миша, Миша, — и ушла в горницу. Деда дома не было. Ну совсем дед бабу довел. Совсем разругались. Даже отцу вон жалуются. Витька нахмурился, показывая отцу, как он недоволен. Даже руками развел.

День тянулся долго. Они накопили червей на застрашную рыбалку, запарили зерна на прикормку. Камеру заклеили. Два раза ходили в магазин. Деда так и не дождались. Вечером уже пошли на старицу купаться. Колтуша не пошел — больной лежал с горлом.

Витька первый разделся и забежал. Вода была парная. Прямо горячая. Он нырнул и немного проплыл под водой, потом попробовал на размашки, но так у него не очень хорошо получалось и он немножко хлебнул и закашлялся. Отец поймал его за руку, посадил на шею и поплыл на глубину. Он всегда так делал. Мама боялась, а Витька совсем не боялся. Отец плыл почти без напряжения, отфыркивался и широко загребал руками. К берегу они возвращались рядом. Витька по-собачьи, а отец на боку. Поглядывал за ним.

— А маму ты почему не научил плавать? — спросил Витька, когда они обсыхали на травке на вечернем солнышке.

Отец задумчиво глядел куда-то в вечерний золотистый лес на другом берегу.

— Мама же совсем не умеет плавать. Научи ее!

Отец повернулся к сыну, вытер руки о траву и достал сигареты.

— Да, — как будто согласно кивнул и посмотрел на Витьку так, будто не узнавал его или, наоборот, старался запомнить.

Потрепал мокрый Витькин чубчик.

Они полежали молча.

— Ты на них не обижайся, — вспомнил Витька про деда с бабой, — они со вчерашнего дня ругаются. Как дед с почты вернулся, так и ругаются. Наверное, опять пенсию потерял. В тот раз почтальон принес, он ее засунул в коробку с гвоздями и забыл. А все ругал бабу, думал, она спрятала. А сейчас маму ругает чего-то... Мама когда приедет?

— Теперь уж когда забирать тебя будет. Одевайся, пойдем.

Пока возвращались, солнце село. Дымом тянуло от летних кухонь. Редкие фонари зажелтели по широкой деревенской улице. Окна в избах. Люди вечерять садились.

Витька шел и воображал, как они сейчас вернутся и тоже сядут за стол. Он очень любил гостей. Весело бывало. Дед все время говорил тосты, шутил, пел — нескладно, но так громко, что баба в сердцах одергивала его, чтоб не мешал. А сама пела красиво. Как мама. В конце концов дед напивался и, когда всё убрали со стола и садились играть в карты, все время проигрывал. Витька и сейчас ждал, когда они станут играть. Он бы сел в пару с отцом. И отец увидел бы, как он хорошо играет.

В доме было темно. Баба лежала в горнице с мокрым полотенцем на голове. Дед был в сарае. Свет у него горел. Витька забежал.

— Дед, вы чего?! Отец же приехал! — зашипел, страшно вытаращив глаза.

Дед ничего не делал, просто сидел, задумавшись, у верстака. Встал при виде Витьки, посмотрел на него и снова опустился на табуретку. Витька подошел, присел деду на колено, обнял рукой за шею. Дед всегда любил такое, но теперь только прижал его к себе и даже не улыбнулся. Они еще посидели, потом погасили свет и пошли в дом. Отец курил на завалинке. Поднялся навстречу тестю.

— Здорово, Федор Савелич!

— Здорово, зятек, — дед подал руку, на которой не хватало двух пальцев. — В саду пойдем сядем, мать расхворалась... Давай, Витька, помогай. Там она наготовила.

Они сели за стол под старую яблоню. Мужики выпили по полстакана. Закурили молча. Витька ничего

не понимал. Отец-то и всегда молчаливый, но деда было не угадать. Молчит, как в рот воды набрал.

Он болтал ногами под лавкой и наблюдал, как мошки от лампочки падают в холодец, в горчицу и деду в стакан. Комары звенели, Витька смачно хлопал по голым коленкам и чертыхался по-взрослому. Думал, что бы такое рассказать. Хотел рассказать деду, куда они завтра пойдут рыбачить, даже уже и рот открыл, но почему-то не стал.

— Ешь, чего не ешь? — ткнул дед беспалой рукой в тарелки. — Бабка кому готовила?

Налил еще водки.

— Ну, давай, зятек, с добрым свиданьем... — сказал ехидно и, не дожидаясь отца, выпил.

Свернул пучок зеленого лука, положил на хлеб и, придавив сверху салом, откусил сразу половину. Стал жевать, отвернувшись в сторону.

Витька взял пирожок, разломил, внутри были капуста с яйцом. Он встал и пошел на кухню за молоком. Заодно налил и квасу в большую кружку, чтобы с мужиками чокаться. Возвращался обратно осторожно, стараясь не плескаться.

— Чисто кобель ты, Миша, люди так не делают, — услышал негромкий, строгий голос деда. — Человеку терпелка на что-то дана...

Когда Витька допил молоко, его отправили спать. Да ему и самому не интересно было. Дед шуток не шутил, частушек не выдумывал, а, наоборот, выговаривал отцу как маленькому. Говорил, что теперь все с жиру сбесились, рассказывал, как на войне тяжело было, как он раненого командира с поля боя вынес, тряс рукой с оторванными пальцами. Витька все эти рассказы знал, да и отец тоже. Отец молчал, крутил хлебный катышек в пальцах.

Один раз только поднял на деда глаза:

— Не поймешь ты меня, Федор Савелич, чего и говорить-то об этом...

— А о чем тогда?! — взъярился дед. — Давай о бабах! Повидал их! От тебя не отстану! Да только не упомяну ни одной, слава те господи! Нет их в моей старой жизни, понимаешь ты, я нынче думал про то — совсем нет! Одна пакость вспоминать! А бабка моя есть! Дети! Внуки вот! Ты этого не понимаешь! Разбросался! — Дед отвернулся, но тут же снова прищурился на отца. — Ему-то, — ткнул он в Витьку, — что скажешь?! Ты же для этого приехал?! Скажи! Я послушаю!

Тут Витьку и отправили. Отец отвел.

Проснулся первый. Не по будильнику. За окнами чуть засерело. Как раз, понял — и растолкал отца.

Свежо было. Край неба за селом, как раз в той стороне, куда они шли, только-только начал светлеть.

Когда Витька ходил с Колтушей, они всегда загадывали: если до старицы успеют, пока солнце не выйдет, будет клев. Иногда и бегом приходилось навернуть. А последний раз Витька потихоньку загадал: если успеют, то отец приедет, как обещал. И отец приехал.

Но сегодня они успевали. А от старицы Гнилуши до Хопра рукой подать. Дед рассказывал, что старица раньше была Хопром, но потом отделилась и сделалась Гнилушей.

— Дед совсем без памяти стал, — вздохнул Витька, копируя бабку. — То у него на войне плохо, то хорошо... Напился и врет, что он живого командира на себе вынес. И что ему потом орден выдали. А он же одного... и того всего изрикошетили. Сам мне говорил, что он специально его себе на спину положил, чтобы

не убило. Вот и не убило. Только руку и плечо... И орден ему не дали, медаль только.

Он посмотрел на отца. Отец был большой. В два раза сильнее деда. Если бы он воевал, у него обязательно был бы орден.

— Ты слушайся деда, сынок... — Отец шел, думая о чем-то своем. — Вырастешь, все поймешь. — Он замолчал на минуту. Витька видел, что он еще что-то хочет сказать, но не говорит. — И про войну тоже поймешь... Ты другого своего деда и не видел. Убило его.

Замолчали. Шагали, поднимая легкую пыль, прибитую ночной росой. Каждый о своем думал.

— Как же «убило»? — спросил вдруг Витька. — Мама говорила, что он на войне вас бросил и ушел к другой женщине. И письмо баба получила от другой женщины?

Отец остановился, отпустил Витькину руку и полез за сигаретами.

— Не знаю, я маленький тогда был, как ты... Не видел я никаких писем.

Отец прикурил, взял Витьку за руку, и они снова зашагали.

— А как же деда Петя?

— Он тебе неродной.

— А тебе родной?

Отец улыбнулся было, но Витька был серьезен.

— Ну... родной, конечно. Мама после войны за него замуж вышла, и он нас вырастил. Но мой настоящий отец — деда Вася.

Витька помолчал, соображая.

— Все равно...

— Что?

— Он мне родной...

— Кто?

— Деда Петя! А деда Вася мне неродной. Я же его не видел!

Рыбак на велосипеде обогнал их. Длинные удища, подвязанные к раме, вздрагивали тонкими кончиками. Звонки на кочках позвякивали сам собой.

Они и не заметили, как миновали старицу и теперь шли к Хопру просторным дубовым лесом. Узорчатые тени падали под ноги. Витька скакал, стараясь попадать на солнечные пятнышки. Вдоль дороги росли высокая трава и цветы. Сухощавый невысокий мужик, голый по пояс, косил недалеко. «С-с-ши-н-нь... С-с-ши-н-нь... С-с-ши-н-нь...» — отдавалось в лесу. Когда они поравнялись, мужик перестал косить, оперся на черенок и стал смотреть на них. Завидует, понял Витька. Видит, что мы на рыбалку идем.

— А ты косить умеешь? — спросил он отца.

— Умею.

— А картошку окучивать?

— И картошку...

— Я тоже умею. Мне дед маленькую тяпку сделал. Мы с ним окучивать ходим, баба не может. У нее ноги больные.

Кузнечик вылетел из травы, сделал дугу и сел впереди прямо на дорогу. Витька коршуном на него упал, да промазал, стал красться, но тот близко уже не пустил и улетел далеко. Витька вернулся к отцу.

— Синекрылка, — сказал он, сделав безразличное лицо, — на таких не клюет. У них яд коричневый. Надо желтокрылок наловить зеленых. На них клюет.

— И кто же на них клюет?

— Как кто? Ты не знаешь?! — Витька забежал вперед, заглядывая отцу в глаза. — Язи! Голавли! Хочешь, наловим? Под мостом полно голавлей. Вот такие...

Они отошли от дороги и стали обследовать лут. Роса еще не высохла, кузнечики были вялые и не спугивались. С трудом нашли три штуки. Витька поймал синекрылку.

— Ты же говорил, они ядовитые?

— Ну пусть. — Витька осторожно, чтобы другие не вылезли, засовывал серого толстопузого кузнеца в спичечный коробок. Кузнец сердито шевелил усами и пускал коричневую ядовитую слюну.

Вскоре дорога спустилась в прибрежный ивняк, резко запахло речной свежестью, и отец с сыном вышли на реку. Берега были высокие, кудряво и густо заросшие дубами и огромными старыми тополями.

Неглубокий пережат перед ними радовался золотистому солнечному утру, болтал сам с собой и весело скакал по цветным камушкам и переливчатой ряби песка. Тихая прибрежная трава искрилась росой. Из гулкой тишины леса раздавался крик кукушки. Отец щурился на воду, на солнечные зайчики и чуть заметно улыбался. Кукушку считает, понял Витька, — загадал чего-нибудь и считает.

Река неторопливо закручивала мягкие водяные травы и вскоре уходила в сонный ленивый омут. Ласточки из голубой высоты падали в лесную тень, чиркали клювиками по гладкой поверхности и с веселым щебетом снова взмывали выше тополей. Уже жарко было.

Витька видел все это сто раз, но все же стоял, держа отца за руку, и ждал, пока тот насмотрится.

— Во-он там мужики лещей ловят, — показал он на другой берег. — Мы с Колтушей пробовали, но у нас удочки короткие.

Отец засучил штаны, посадил сына на шею, и они перешли. Вскоре тропинка вывела их на укромный песчаный пляжик, еще мокрый от утренней росы.

Перед ними был глубокий омут, которого Витька побаивался, никогда здесь не купался. Отец размотал и забросил донки, подвесил маленькие колокольчики, и они уселись на бревнышко. Витька, совсем как взрослый, подпер кулаком подбородок и решил терпеливо ждать — понятно же, что большая рыба быстро не клюнет.

Он следил за длинненьким ивовым листочком, тот, изогнувшись, лежал на поверхности, почти ее не касаясь. Сначала листочек медленно, как легкий кораблик, плыл по течению, потом попал в водоворот и теперь кружился в растерянности. Не знал, как выбраться. Отец курил и тоже смотрел на листочек.

Он хотел сам все рассказать сыну. За этим и приехал. И вот теперь не мог. В городе он не раз пытался представить себе этот разговор. Думал, посадит его напротив себя, возьмет за плечи и поговорит. И все объяснит. Но у него и там-то, когда Витьки не было рядом, ничего не получалось. Он представлял наивные, полные любви Витькины глаза и дальше этого не мог двинуться в своем объяснении. Вся его решимость насчет новой любви и новой семьи куда-то девалась.

Можно было, конечно, ни с кем не видеться. Ни с Витькой, ни со Светкой, которая своей крошечной любовью и радостью выворачивала его наизнанку, но так он не мог. И к Витьке приехал сказать, что он его по-прежнему любит. И они договорятся видеться как можно чаще. В городе у него было много хороших правильных слов и он сам начинал верить, что они будут видеться часто. Почти каждый день.

Он курил, чувствуя досаду и растерянность, поглядывал на сына и мысленно разворачивал его для такого разговора, но Витька почему-то никак

не разворачивался. Листочек выбрался и уплыл уже за кувшинки, и теперь Витька зорко следил за тонкой темно-синей стрекозой с бархатными крылышками. Он сто раз пытался поймать таких, но они все время летали над водой. Витька быстро глянул на отца — не поможет ли, потом снова на стрекозу, но вдруг бросил ее и уставился на отца. Станный он приехал. Не похож на самого себя.

Отец встал и пошел по тропинке.

— Ты куда? — зашептал Витька.

— Сейчас, — ответил отец не оборачиваясь.

Витька стал внимательно смотреть на донки. Было бы хорошо, если бы клюнуло, пока отца не было. Сам бы вытащил. Донки молчали. Маленькие колокольчики, подвязанные к лескам, поблескивали на солнце и чуть покачивались, но не звенели.

Неподалеку у камышей плеснулась крупная рыба, потом еще раз. Витька осторожно поднялся и побежал за отцом. Надо было сказать про большую рыбу.

Отец сидел на соседнем рыбацком местечке, курил и смотрел под ноги.

— Ты чего? — заговорил Витька растерянно. — Тебе у нас не нравится?

Отец улыбнулся через силу, притянул его к себе.

— Ты что? — Витька, отстраняясь, внимательно рассматривал отца: глаза улыбались, но грустно-грустно, Витька никогда такого не видел. — По маме соскучился?

— Ничего... — Отец вздохнул. — Я в детстве рыбачил на такой же речке. Иногда с отцом. Но я его плохо помню. Помню, он строгий был.

— Ты тоже строгий!

— Я?!

— Конечно! — удивился Витька, что отец этого не знает.

Они глядели друг на друга. Нежно. Жалели друг друга. Только разная это была жалость. Витька просто любил, а отец... тоже, конечно, любил. В том-то и дело. И от этого ему было совсем плохо. А Витьке — нет. Витьке не могло быть плохо, если отец был рядом.

Нежный, но настойчивый звон заставил их очнуться. Они прислушались, удивляясь странному металлическому переливу, стелющемуся по реке, но вдруг заторопились разом и наперегонки бросились к донкам. Одна из них была сорвана, и колокольчик полз к воде.

— Подсекай, — показывал отец, размахивая рукой.

Витька схватил леску и почувствовал, как его прямо потащило в воду.

— Ух-х! — Он вцепился двумя руками, глаза были полны ужаса и счастья. Был бы он один, по-настоящему испугался бы.

— Большая?!

— Ой!!!

— Тащи!

Это был огромный язь. Красноперый и черноспинный, желтым серебром заходил, завоzilся у самого берега, на песчаную мель уже подтащил его Витька. Отец шагнул в воду, чтобы помочь руками, язь отчаянно рванулся и оборвал крючок. И, медленно шевеля плавниками, поплыл в глубину. Отец растерянно смотрел ему вслед, а Витька не выдержал. Он продолжал вытягивать леску, на которой уже ничего не было, и громко ревел. Слезы текли по щекам, он вытирал их и все смотрел в глубину. И столько горя было в его глазах, что отец невольно рассмеялся и прижал его к себе.

— А-а! Ы-ы! — не унимался Витька, вздрагивая всем телом.

— Ну-ну! — Отец большой рукой гладил его худенькие лопатки и ежик на затылке. — Не реви, еще поймаем!

— Не пой-май-ем! — тер Витька слезы. — Такого уже н-нет...

— Вот сейчас увидишь. — Отец достал коробку и стал привязывать новый крючок.

Витька потихоньку успокаивался. Сидел на бревнышке и иногда судорожно вздыхал, глядя на песчаное дно, уходящее в зеленую глубину. Потом вдруг сказал тихо и решительно:

— Ну и пусть. Там ему лучше!

Отец удивленно и даже тревожно посмотрел на сына.

— Там он плавает. Видел, какой он прекрасный! — У него снова набухли глаза, вздохнул тяжело и прерывисто. — Жалко, деду не показали. Дед говорит, что ты подлец. Вот показали бы... узнал бы тогда!

К обеду солнце разошлось. Палило нещадно. Они сидели в тени старой, с неохватным стволом ветлы, и все равно было жарко. Витька то и дело купался. Это, конечно, пугало рыбу, но в садке у них уже плавало два хороших подлещика, несколько плотвиц и с десяток окуней. Столько Витька никогда не ловил. Жалко, что Колтуша заболел, а то бы и он посмотрел.

Уху стали варить. Витька бегал за дровами, помогал рыбу чистить, рассказывал отцу, как надо жарить пескарей на пугике.

Потом ели. Никогда Витька такой ухи не ел. Два раза добавки просил и объелся.

Рыба уже давно не клевала. Ни на донки, ни на удочки. И они стали собираться.

Витька шел по лесной дороге, мысленно разговаривая с Колтушей. Рассказывал, как забрасывать донки, как варить уху. Предлагал всегда брать с собой котелок. Но Колтуша заспорил: кто его будет нести? Витька сначала сказал, что Колтуша, но это было несправедливо и они решили, что по очереди. Он отстал от отца. Шел, размахивая руками.

— Ты с кем там воюешь? — остановился отец.

— Ни с кем... — взял Витька его за руку. — А ты когда уедешь?

Отец должен был ответить «завтра», потому что на послезавтра у него уже были совсем другие билеты. Два. Прижавшись друг к другу, они лежали сейчас, вложенные в обложку паспорта. Но он молчал. Глянул мельком в темные Витькины глазки и совсем ушел в свои мысли. Дорога пылила. В рюкзаке за спиной о пустой котелок позвякивали ложки.

Он думал, что у него есть выбор. Что надо просто взять себя в руки и поставить точку... как-то так сделать, чтобы никто не пострадал. Он конструировал внутри себя что-то такое... какой-то такой мир, который бы всех устроил.

Выбора не было. Все было устроено давно и правильно, и не в его власти было это переустраивать. Мысль эта, от которой он собирался отказаться, спокойно превращала все его конструкции в труху, и только маленькая Витькина ладошка в его ладони имела незыблемый и ясный смысл.

Отец остановился. Прикурил сигарету.

— Я тебе все снасти оставлю. Сам будешь ловить. С Колтушей.

— Все?!

— Все, — ответил отец уверенно и даже как будто весело.

— И котелок?

— И котелок!

Витька помолчал, разглядывая отца.

— И ножичек перочинный? — спросил осторожно.

Отец остановился, снял рюкзак, достал из карманчика ножик и протянул его Витьке. Ручка была темно-синяя. Перламутровая.

— Держи!

Витька глазам своим не верил. Раньше отец даже трогать его не разрешал.

— А я не обрежусь?

— Не-ет. Ты уже большой.

Конечно большой, думал Витька, ощущая в руке приятную гладкую тяжесть. Один на речку хожу. Плавать по-всякому умею. Уху варить.

Лес кончился. Показалась Гнилуша. Пацаны разгонялись и с криками прыгали в воду с обрывчика. На всю старицу орал.

— А уедешь когда?

Отец помолчал.

— Завтра... наверное.

Витька покрепче взял отца за руку, шагнул широко и ничего не говорил. Даже не заревел, хотя и очень хотелось.

Художник

Дэзовский слесарь Сергей Назаров нарисовал картину. Случайно вышло. Пришел домой пообедать, а там внук мучается с акварельными красками: в школе велели нарисовать осенний пейзаж. Деду интересно стало, сначала только советовал, потом сам за кисточки взялся. Внук давно на тренировку убежал, а он все шурился в окно. Срисовывал их старый, слегка запущенный московский дворик.

Неплохо получилось. За окном уже стемнело, а он сидел на кухне, пил чай и рассматривал акварель. Все, в общем, так себе вышло, но куст сирени, который он лет десять назад посадил у забора, как живой стоял. Осенний, прохладный, с вечерним солнцем на листьях. Назаров мыл кисточки и хитро, с каким-то глуповатым превосходством его рассматривал. Ему ясно было, в чем дело. Куст был самым темным, чтоб воду в банке лишний раз не менять, он заливал его последним, и руки кое-что вспомнили. Он уже не торопился, внимательно его рассмотрел, намечая карандашом пропорции, и увидел интересный силуэт. Куст был упрямый, несмотря на позднюю осень, весь в зеленых, чуть скукоженных листьях, сквозь которые просматривались серые побеги. Он взял самую мягкую беличью кисточку, обработал ее лезвием и ножничками, как когда-то учили, и тщательно все отделал, выписывая

листочек за листочком. Поэтому и получилось. Назаров смотрел акварель, рассеянно грыз ногти и тихо улыбался.

Ночью уснуть не мог, продумывал, как надо было делать, и ему очень хотелось попробовать. Надо было рисовать весь дворик. Он тихо поднимался, стараясь не разбудить жену, шел курить и вспоминал старенького школьного учителя рисования. Это было бог знает когда. Учитель хвалил и говорил матери, что Сереже обязательно надо идти учиться. Но куда бы он тогда пошел? Назаров и теперь этого не знал. А ведь мог бы, наверное. Все время рисовал. В школе, потом в армии служил художником в политотделе дивизии — плакаты рисовал, там тоже хвалили. После армии как отрезало. Работал, женился. Странно, удивлялся он, гася окурок в пепельнице, — ни разу в жизни не сделал ни одного пейзажа, ни одного портрета настоящего.

Назарову было пятьдесят четыре года. Среднего роста, худой, светловолосый и светлолицый мужик. Довольно обычный с виду. Только глаза у него были темно-синие. Брови светлые, будто выгоревшие, а глаза такие необычные, что люди часто в них вглядывались так, что неловко становилось.

Они с женой жили вместе с дочкой и двумя внуками — Антоном и Машенькой — в их старой квартире, бывшей коммуналке, в арбатских переулках. Назаров, как на фабрике перестали платить, ушел слесарем в свой ДЭЗ. Его здесь все знали, и он всех знал. Он не пил из-за язвы и зарабатывал неплохо.

На следующий день Назаров, не понимая, как получилось — может, оттого, что на улице было солнечно и весело, ноги сами несли, — пошел в «Лавку

художника» и купил краски в тюбиках, бумагу и кисточки. И мольберт. Все стоило дорого, даже пришлось занять денег. Домой сразу не понес, положил к себе в слесарку. Пошел после обеда, когда дома могли быть только внуки.

— Антоха, смотри, чего я нам принес, — зашумел прямо с порога.

Дома никого не было. Назаров распаковал мольберт, поставил к окну, погладил ладонью гладкую поверхность, постоял, подумал о чем-то и прикрепил кнопками новый ватманский лист. Взялся было за краски, но отложил, позвонил в контору и сказал, что заболел — желудок прихватило. Краски были настоящие, пахли интересно, нежным чем-то, кисленьким, он выдавливал их прямо на бумагу. По чуть-чуть. Размазывал пальцем, мочил водой, смешивал. И смотрел за окошко: солнце садилось, их дворик погружался в тень.

Больше месяца он рисовал этот уголок — с работы не уйти было, да и домашние мешали, но главное — не нравилось Назарову то, что получалось. Деревья почти совсем облетели, он рисовал по памяти, а чаще брал одно дерево или угол дома и писал его поразному. Почти каждый вечер сидел с красками. Жена, Татьяна, сначала заинтересовалась, обсуждали вместе, но потом перестала понимать, а иногда и злилась: мужик целыми днями картинку рисует. Да ладно бы картинки, а то одну и ту же.

Но он нарисовал. Пейзажик, кажется, получился что надо. Непонятно почему, но вроде получился. Всем понравилось, даже жене. На другой день он сделал его же, тот же дворик, только уже под снегом. Получилось. И быстро, и хорошо вышло. Денек, правда,

был грустный и пасмурный, но какой уж был. Назаров глазам своим не верил, но все было на месте, он снял акварель с мольберта и сел под лампу. Жена подошла, вытирая руки о передник. Долго смотрела из-за спины. Назаров не выдержал и повернулся. И Татьяна смутилась, во взгляде ее было тихое, испуганное удивление и растерянность. Будто она Назарова первый раз в жизни видит.

Жизнь, однако, шла как обычно, Назаров ходил на вызовы, работал в слесарке, а сам все время думал, что бы еще написать. Дворов вокруг было полно, можно было, конечно, попробовать. Но как это я усядусь — знакомые ведь ходят. Да и что в этом интересного? Двор и двор. Сидел в библиотеке, подолгу смотрел пейзажи известных художников — там тоже все было просто. Измучился совсем.

Так он маялся недели три — никак ничего не мог начать. Ездил за город с мольбертом, но декабрь стоял морозный и краски замерзали. Да и не в них было дело. Чего-то Назаров не понимал в этом деле, спал плохо, на кухне сидел по ночам. Он не понимал даже, чего он, собственно, понять-то хочет.

В конце декабря — субботнее утро было — позвонила начальница и попросила сходить на Гоголевский бульвар: там в подвале потекло. Назаров пошел за инструментом в слесарку, посидел, нервничая — в этом старом доме на Гоголевском жил художник Харламов. У него была большая мастерская на верхнем этаже. Назаров еще помогал ему свет монтировать — сотню лампочек под потолком тогда укрепили на специальной подвеске. Он забежал домой, взял два своих пейзажа. Может, его еще дома не будет?

В подвале часа полтора провозился, из рук все валялось, испачкался, штаны и ботинки измочил. Думал пойти переодеться, но плюнул и пошел как был.

Дверь открыл сам художник. В синих рабочих штанах, заляпанных красками, заляпанной футболке и тапочках на босу ногу. Заспанный.

— Заходи, — бросил он Назарову и пошел по темному коридорчику в мастерскую. — Что стряслось?

— Да так, ничего, я вот зашел... Здрасте... — Назаров шел за ним, волновался ужасно, забыл со страху, как его зовут.

Харламова звали Владимир Васильевич. Это был невысокий, нестарый еще и крепкий мужик. Глаза мутноватые и невыспавшиеся, но все равно такие мягкие и умные, что Назарову было неудобно смотреть.

— Погоди-ка... — Художник вышел, хлопнул где-то дверцей холодильника и вернулся с тремя бутылками пива.

— Не-не, спасибо, — очнулся Назаров, — я... не пью. Я вот тут, — отнимающимися руками вынул папочку из сумки, — хотел вам показать...

Назарову совсем худо стало, когда его акварельки выползли на свет божий: вокруг было полно картин. Больших, маленьких и очень больших.

Харламов выпил стакан, наморщил лоб, прислушиваясь к себе, опустил на стул и взял в руки рисунки.

— Садись. Нет, дай-ка вон очки!

Он долго рассматривал. Сначала «Осень», потом «Зиму», потом снова взял «Осень». Назаров не знал, куда себя деть. Волнение под самое сердце подкатило. Не мог ждать. То ему казалось, что Харламов явно с похмелья и ничего не соображает, то вдруг становилось стыдно, что вообще приперся с этим...

— Неплохие акварели, чьи это? — Владимир Васильевич снял очки и внимательно посмотрел на Назарова.

— Мои.

— Ты вроде в жэке работал?

— Ну да...

Харламов помолчал, глядя куда-то сквозь рисунки. Потом снова нахмурил лоб, налил пива, медленно выпил и закурил. Взял рисунки со стола и пошел к окну.

— Ну что, хорошо сделано. Ты учился?

— Да нет, раньше там... Случайно, в общем, вышло... — У Назарова маленько отлегло.

— Гм... Случайно. У меня студенты... Н-да... — Он снова внимательно посмотрел на Сергея. — Так я не понял, ты давно этим грешишь?

— Да вот сам не пойму, как вышло. Сначала не получалось, а тут смотрю — вроде ничего. — Назаров глуповато улыбнулся. — Как больной, ей-богу, хожу, только об этом думаю. Странно — кисточки да краски, а вот раз — и небо. Вы понимаете? И вроде точно небо... — Назаров покосился на художника. — А как так получается — не понимаю. Я ведь ничего такого не делаю, раньше, в молодости, так не было — рисовал и рисовал. А мог и не рисовать.

Назарову казалось, что несет не пойми чего, вообще говорит не о том. Но Харламов, кажется, хорошо понимал.

— Небеса у тебя что надо! — Владимир Васильевич уважительно качнул головой. — Это уж, видно, рука. А башка, она может и не понимать. Ну ладно, раз уж ты пришел...

Он прислонил «Осень» к бутылке, прищурился. Не глядя достал чистый шпатель из банки. Потянулся к рисунку и опять замер, что-то рассчитывая.

— Вот так, наверное... — Он повернулся к Назарову. — Добавь сюда бабульку на лавочке. В чем-нибудь темном, понимаешь? Композицию подтянешь. А эту тень послабее сделай... Зажелти, что ли. Да и убавь, наверное... — Он опять о чем-то задумался. — А так все хорошо... Все у тебя здесь есть. Настроение шикарное. Старый двор. Осень. Тепло. Пусть бабулька посидит, на солнышке погрееется.

Назаров растерянно молчал. Первый страх у него прошел, и теперь он пытался что-то понять из того, что говорил Харламов.

— Чего ты?

— Да там... нет лавочки... — брякнул первое, что пришло в голову. В душе же был счастлив. Понимал, что пейзаж его одобрен, и хотелось попробовать со старухой...

— Ну и что теперь? Не бойся ничего — у тебя получится. А не хочешь, не добавляй. Да пиши побольше — сам многое поймешь.

Харламов разговаривал с Назаровым как с равным. Или почти как с равным. Назаров это хорошо понял. Шел домой сосредоточенный, ничего вокруг не видел.

Не вышло у него ничего с этой бабкой... Все ногти съел. Недели две мучился, штук двадцать их сделал. На разных лавочках, с книжками, с внучатами, даже настоящих местных старух пытался «усадить». Не выходило. Некоторые старухи на отдельном листке ну прямо как живые, даже сам удивлялся, а в пейзаж не идут. Назаров не понимал, в чем дело. Казалось, бери да делай! Но... пейзаж оставался сам по себе, а бабка в нем как какая-то случайность, да еще сидит задумавшись, напасть такая. Можно было к художнику

сходить, но неудобно было, и Назаров пошел в Третьяковку — Харламов велел ходить.

Часа полтора он выдержал в галерее. Летел домой как кипятком ошпаренный. «Поперся, старый осел... — шипел яростно. — Пяток картинок намазал, и в Третьяковку. Место себе присматривать? Ой-ёй-ёй! Ой-ёй! Сказано было — пиши. Значит — пиши! — Он рубанул рукой воздух. Какая-то тетка испуганно шарахнулась в сторону. — А то Суриков ему не понравился. Небрежно больно...»

С Суриковым, действительно, вышло неловко. В Третьяковке как раз была выставка его акварелей. Назаров сразу туда и пошел. И первое, что он внимательно рассмотрел, было несколько заграничных набросков. «Испанские дворики», «Неаполь», «Берлин». Быстрые рисунки, словно для памяти сделанные. Назаров видел, что его «дворик» совсем не хуже. Он подходил совсем близко и, сосредоточенно всматриваясь, «правил цвет», а от некоторых небрежностей, которых уже нельзя было поправить, болезненно морщился. Как будто выговаривал Сурикову.

Но дальше шли портреты, и Назаров занервничал. От них невозможно было оторваться. Казалось бы — женское лицо. Всего-то и взглянула на тебя. А во взгляде этом — всё. Всю ее видно и понятно. Растерянная отчего-то и стесняется — вот-вот краской пойдет, и тут же вроде как жалеет тебя, хоть жену бросай! И видно же — конкретная простая крестьянка. Легко, мазками с натуры набросана, а ощущение, что сразу все русские бабы на тебя смотрят!

«Господи, да неужели ж так можно! — шевельнулось у Назарова в душе. — Ведь это всего-навсего краски так лежат!» Он почувствовал какое-то радостное

облегчение: вот ведь смог человек. Даже так смог! Неужели и я смогу?!

Но радость судорожно мешалась с паническим страхом, почти ужасом. Господи, я уже старый, я самого простого еще не попробовал, мне же... С трясущимися руками и душой припустился домой. Уже по дороге решил, что надо делать.

Дома никого не было. Назаров прикрепил к мольберту чистый лист ватмана, торопился — боялся, помешают. Сначала сделал быстрый набросок в карандаше — только голову. Ему не очень понравилось. Было очень похоже, но слишком красиво... или слишком взросло, что ли? Он вглядывался в рисунок, машинально открывая тюбики: можно было выправить дело красками. Начал заливать. Появилась нежность. Назарова охватило сладкое нервное волнение. Он был почти уверен, что все получится, — внучку, Машеньку, он больше всего на свете любил.

Дверь глухо брякнула в коридоре. Он вздрогнул, прислушался, но так и не поняв, кто пришел, снял мокрый рисунок с мольберта и осторожно спрятал в стол.

В комнату вошла Татьяна, расстегивая пальто.

— Ты чего не на работе? — начала было, но, увидев безумный, растерянный взгляд мужа и разложенные тюбики, вспыхнула глазами и молча вышла на кухню.

Назаров себя чувствовал школьником, сбежавшим с уроков и застуканным матерью. Он знал, что жена права, но была уже в этой комнате и какая-то его правда. Непонятная, может и преступная... но она тихо пребывала рядом с ним. Не уходила.

Назаров стал убирать краски и услышал тихие всхлипы жены. Татьяна плакала редко. Он нахмурился и пошел на кухню.

Татьяна сидела за столом и глядела в окно. Назаров вздохнул тяжело и виновато, как бы извиняясь, но какой-то тихий бес толкал изнутри: только пол-лица успел сделать...

— Я все это выброшу! — Татьяна повернулась. В мокрых глазах нехорошая твердость. — Нас как будто нет совсем — уже и днем сидишь! Ты в прошлом месяце сколько принес? Что мне, еще один подъезд взять?!

Все это было правдой. Татьяна после работы ходила мыть подъезд в девятиэтажке. Назарова это почему-то унижало. Он предлагал ей бросить, но денег не хватало. Дочка была в разводе.

Назаров стиснул зубы и ушел в комнату. Достал из шкафа «Осень», «Зиму», подумал и взял несколько эскизов «старух», которые получше. Он двигался так, будто не сам это делал. Как будто это у него давно было решено. Положил все в пакет, оделся и вышел на улицу. Арбат был совсем рядом.

Он прошел весь ряд торговцев картинами. Потом вернулся к одному толстому молодому парню, у которого было несколько неплохих пейзажей.

— Ты что, мужик, купить что-то хочешь? — весело спросил толстяк, отрываясь от разговора с таким же продавцом. Он бесцеремонно и снисходительно оценивал Назарова.

— Да нет, я вот, принес тут...

— Прине-е-ес, — парень потер замерзшие руки. — Ну, показывай.

Назаров достал рисунки. Парень быстро, но внимательно проглядел.

— Если все, то по пятьсот рублей возьму.